

**СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ**  
Педагог



Родился в 1961 году в Ленинграде. Интерес к культуре и литературе пробудился после уроков Ираиды Серафимовны Грачёвой, одного из самых ярких ленинградских словесников 1970-х – 1980-х годов. В 1983 году закончил филологический факультет ЛГУ, где защитил диплом по творчеству писателя-старообрядца XVII века дьякона Фё(ео)дора. Распределился в школу, с которой связана вся последующая деятельность. Учитель словесности с 1983 года, с 1989 по 2005 годы преподавал в РГПУ имени А. И. Герцена, соавтор учебников и программ по литературному образованию. С 2005 года является доцентом СПбАПО.

Филолог-методист, кандидат педагогических наук, работает над докторской диссертацией, посвящённой проблеме формирования культурной памяти учащихся. Автор-разработчик нескольких программ повышения квалификации учителей-гуманитариев (по семиотике культуры, культурной антропологии и литературной герменевтике).

Считает своим кредо стремление преодолеть разрыв между живой научной мыслью и школой. Разделяет убеждение П. Рикера в том, что традиция жива, пока она интерпретируется, чем и занимается в условиях школьного образования.

## ВОСПОМИНАНИЯ О ДРУГЕ

### «Когда судьба по следу шла за нами...»

Кажется, мы расстались только вчера. Только вчера, летним июльским вечером 2002 года, после пикника на любимой лесной поляне, недалеко от Дома творчества кинематографистов в Репино, пили пиво, сидя на крыльце дома, где в служебной комнате коммунальной квартиры жили Гриша, его жена и сын.

Как всегда, спорили о литературе и вспоминали любимые стихи. Гриша их знал много и декламировал с удовольствием. В тот вечер мы наперебой читали стихотворения Арсения Тарковского.

Я любил слушать, что Гриша говорит о прочитанном. Его суждения всегда были нестандартны и неожиданны. Может быть, потому, что, будучи выпускником русского отделения филологического факультета ЛГУ, я привык к авторитету (и, увы, стандартам литературоведческой науки), а он имел за плечами только опыт бессистемного чтения, если можно назвать его чтение бессистемным.

Мы остановились на стихотворении «Первые свидания»:

*Свиданий наших каждое мгновенье,  
Мы праздновали как Богоявление,  
Одни на целом свете...*

Мы оба любили это стихотворение, как любили наших жён, разделявших нашу любовь к искусству и не разделявших пристрастие к горячительным напиткам, как любили фильм Тарковского-младшего «Зеркало», благодаря которому в далекой юности узнали, что у великого и любимого нами кинорежиссёра замечательный отец, «последний поэт серебряного века».

Гриша особо подчёркивал, как важна в этом стихотворении тема преобразования жизни «с той стороны зеркального стекла»... Что любовь сродни искусству, потому что, как и в поэзии, любовь ведёт «неведомо куда» и открывает перед нами миражи или «миражи», как у Тарковского, «построенных чудом городов»...

Меня зацепило Гришино краткое резюме в конце обсуждения стихотворения: «Замечательные стихи, только финал отдаёт литературщиной: Когда судьба по следу шла за нами, / Как сумасшедший с бритвою в руке». Я не нашёлся, что сказать, потому что мои аргументы всегда были рациональны, а основанием его суждений являлось внутреннее чувство стиля. Мы договорились встретиться после моего возвращения из тверской деревни, куда я отправлялся на отдых к друзьям.

Уже стало традицией, что мы с семьёй приезжали к Грише и Оксане в августе, перед началом учебного года. Но в тот год мы уже не встретились: судьба явилась не в литературном обличье — «с бритвою в руке». В её руке была резиновая дубинка: пьяный милиционер, оставивший свой пост, напоролся на моего друга тёплой августовской ночью и перебил ему шейные позвонки. Юный, но уже потерявший сознание и озлобившийся на чеченской войне, безусый «органойд» внутренних дел.

Один из Гришиных рассказов «Представление» начинается с описания игры памяти — воображения, в которой блуждают фантомные образы былого:

«Они легко запоминаются и надолго остаются в памяти; их физиономии характерны, движения забавны, малейшее усилие — и скачет перед глазами уморительная фигурка. Но что они такое, для чего, почему — этого понять невозможно. Даже их органическая природа вызывает сомнение, хотя они самые что ни есть представители органов — органойды».

Среди «органойдов» его рассказов мелькают лица бравых, и не очень, отцов-командиров, и что самое удивительное: все они выписаны с любовью и иронией. Да, они смешны и нелепы, как герои Гришиного рассказа «Представление»: комсомольский секретарь батальона лейтенант Янчавский («колченогий субъект с глазами цвета форменных пуговиц и удивительно подвижными усиками»); сменивший его на комсомольском посту лейтенант Сипсиков («весёленький альбинос, прозванный матросами неприлично и метко — Вовка-говнюк»); «здоровенный, как жеребец, ротный командир Ранецкий» и «старый, беспомощный пьяница майор Макарич»... Все они, как и их подопечные, сослуживцы рассказчика, — «занимательно одушевлённые», как охарактеризовал одного из них Гриша. Кто бы это ни был, каждый по-своему интересен и неповторим.

Меня поразила злая ирония судьбы: на суде за решёткой сидел не матёрый убийца, а затравленный зверёк, с сверкающими ненавистью глазами, до конца не осознающий, что он совершил. А перед судьёй выступал ещё один «органойд», сослуживец и собутыльник убийцы, свидетель убийства, который, давая сбивчивые показания, как бы всё время приговаривал: «Ну, простите нас, мы же не хотели».

И «обезбашенный» убийца, и его косноязычный соучастник словно сошли со страниц Гришиных рассказов, только там они были гораздо симпатичнее. «Спасительная машинка иронии заработала — происшедшее удалялось от меня...» — написал Гриша в рассказе «Камышовая».

Только в жизни ирония судьбы оказалась не спасительной, а убийственной. Гриша в каждом «органоиде» умел разглядеть человека, но «органойды» не способны видеть человека в другом. Первый из услышанных мною Гришиных рассказов «Представление» заканчивается словами:

«Он уходил, маленький, чугунный человек, таял его накрытый фуражкой силуэт... „Мать моя!.. Я же для него... Органоид!..“».

### Из моих дневниковых записей Письмо Грише Сабурову в 40-й день после его смерти

«Мышление есть разговор души с самой собой» (Г. Гадамер). Что скажет мне моя душа после смерти Гришки, одного из ближайших и никем не восполнимых друзей?

«Чистая литературщина», «поэтическая театральность», — говорил Гришка о финале одного из любимых стихотворений Арсения Тарковского «Первые свидания». «Судьба с бритвою в руке» нашла его отца, и Гришка, собираясь о нём написать, наверное, не хотел мифологизировать его жизнь и трагический финал, повторяя литературные клише. Но сам он был художником и сотворил собственную жизнь по законам искусства. Только где катарсис?

Кочегар с дворянской выправкой, заложник жилищного вопроса, крепостной Дома творчества с неискоренимым чувством внутренней свободы, крепко пьющий пленник быта и поэт, какую тайну ты унёс от нас, от меня? Какую тайну открыл?

Неужели недоволенность — приговор нашего поколения, если судьба выдёргивает из наших рядов одного из самых талантливых?

Что ты оставил мне в наследство? «Смерти нет. Бессмертно всё, есть тьма и свет» (цитата по памяти). Слова Тарковского, посланные мне из зазеркалья человеческого бытия. Строчки, которые навсегда будут хранить следы твоих испачканных в угольной пыли пальцев. Это последнее, что ты успел мне сказать в твоей теперь навсегда опустевшей для меня комнате, уже находясь за гранью бытия. Это последние стихи, которые ты мне прочитал. Может быть, это и есть недостающий катарсис в трагедии твоей жизни. Но сейчас, через сорок дней после твоей смерти, мириться с этим не хочется.

Ты всегда поражал меня детской способностью удивляться и любить: жену, сына, друзей, искусство, поэзию. Так любят поэты. Ты пытался найти смысл в своей душе и брался за ручку, нет, за перо. Так всегда делают поэты. Ты смотрел вокруг и мучился несовершенством человека и мира, что сквозит в каждом твоём рассказе. Так мучаются русские писатели. И всё же ты любил мир, любил таким, каким рисовало тебе твоё воображение. Так смо-

трят на мир художники. Не знаю, слышишь ли ты меня, но я тебя слышал, но смог ли услышать...

Незадолго до твоей смерти я беседовал с тобой во сне. Увы, как мы рачительны, почему память, одурманенная выпитым, хранит только праздничное впечатление встреч, а не сами встречи, только отголоски речей, а не их сокровенный смысл, почему сны растворяются в первых лучах солнца?

В день твоей смерти, сидя за столом и поднимая последнюю рюмку в день рождения Олега, я вдруг сказал: «Посмертно». Удивив всех, я как-то отшутился, а сам задумался: «По ком звонит колокол?» Он звонил по тебе. Выпив, ты уходил из дома под напутствие соседки: «Вот напьюсь, заваляшься где-нибудь и умрешь под забором, как собака». «Как человек», — ответил ты и с этими словами вышел из дома, чтобы уже туда не вернуться. Это последние твои слова, которые донеслись до меня.

«Смерти нет? Бессмертно всё...»

«Как человек!» Ты сам написал себе эпитафию: «Здесь лежит Человек».

До свиданья, Гришка, мой мужественный и красивый друг.

В ночь с 4 на 5 октября 2002 года, как оказалось, вместо некролога.

### «На свете всё преобразилось, даже / Простые вещи...»

Это случилось в 1994 году. Я — аспирант и ассистент кафедры методики преподавания русского языка и литературы РГПУ имени А. И. Герцена, кроме учёбы в аспирантуре и работы на кафедре, подрабатывал учителем словесности в школе. А по выходным (два раза в месяц) ездил ещё из Питера в Выборг. Там я читал лекции на подготовительных курсах для тех, кто хотел поступить на гуманитарные отделения разных питерских вузов.

Гриша в это время жил так же. Кроме котельной Дома творчества кинематографистов, он подрабатывал в котельной Репинской школы. А ещё иногда нанимался сторожить или делать грубую мужскую работу на стройках репинских особняков.

Мы оба недавно поженились, и у нас почти в одно время родились сыновья. Мы проживали 1990-е годы как время перемен, трудно и весело, потому что не знали, что будет завтра, и были уверены, что завтра будет лучше, чем вчера.

В феврале ехать в продуваемой всеми ветрами старой, сделанной в советской Латвии электричке до Выборга и обратно — удовольствие не завидное. В одну из таких промозглых февральских суббот мы договорились, что я сойду в Репино, чтобы проведать Гришу на работе и «согреться» в его кочегарке.

В тот день, согласно кочегарскому графику, он работал в школе. Мы встретились на перроне, куда он пришёл, видимо, чтобы сравняться со мной в степени окоченения; купили в соседнем магазине «обогревающее» и пошли (уже без всяких кавычек) греться на его рабочем месте. Мне и в

голову не приходило, чем меня собирается угостить мой приятель и собутыльник (ещё со студенческих времён).

Кочегарка носила на себе отпечаток её хозяев. На стене висел календарь, где красным фломастером был отмечен график работы кочегаров-сменщиков; календарный пейзаж дополнял фотопортрет нездешней дивы с грудью Саманты Фокс, предшественницы красавиц «Плейбоя». На полке стояло несколько книжек: какой-то шпионский детектив, зачитанный до дыр (взятый из школьной библиотеки и оставленный здесь навсегда для будущих поколений скучающих в перерывах между топками кочегаров) томик стихов (кажется, Есенина) и рассказы Бунина.

Кочегарка школы посёлка Репино не была местом коллективных сходок и элитным пристанищем поколения «дворников и сторожей». Она использовалась по прямому назначению как место работы одиноких кочегаров, чьи смены были расписаны по графику. Поэтому книжка Бунина нарушала стройный ряд пустых бутылок из-под пива....

Мы выпили по стопке, согрелись чаем с бутербродами, потом Гриша предложил почитать свои рассказы. Для меня это было полной неожиданностью. Я давно знал, что Гришка — замечательный собеседник и, потому, один из лучших собутыльников. Если он читает книги, то не как я, учитель словесности, выбранными страницами к урокам, а запоем. Именно это состояние запойного читателя, одурманенного прочитанным, Гриша описал в рассказе «Командыр» (где речь идёт именно о чтении Бунина):

«...Но нашлась книга, которая впечатлила так, что я, как ошпаренный, выскочил из разрешённого временностью настоящего и сказочкой вдалеке умственного безделья. Это был сборник ранних рассказов Бунина: „Антоновские яблоки“, „Сосны“, „Дорога“, „У истока дней“... Я читал не только глазами и разумом, но и ртом, жадно хватаящим воздух, коснувшийся книги, и руками, с нервным обожанием щупающими страницы».

Сегодня трудно встретить человека, который воспринимает чтение как потребность души и пищу для ума. В моду вошло так называемое «релаксационное» чтение. Гриша же относился к уходящему из нашей жизни типу читателя, читающего не для того, чтобы отвлечься от жизни, а для того, чтобы проникнуть в её сущность. Он выстраивал свои отношения с писателями, как выстраивают их с самыми важными для себя людьми. Он мог часами доказывать, почему так дороги ему герои никем, кроме специалистов, не читаемых поздних романов И. С. Тургенева «Дым» и «Новь». Гриша был и остаётся в моей памяти одним из немногих, кто читал так, как читал «курсант» Инженерного училища Ф. М. Достоевский: не избранными произведениями, а собраниями сочинений. Но я никак не предполагал, что он будет читать мне свои произведения.

Сейчас мне кажется, он специально подгадал, чтобы я пришёл не к нему домой, как обычно, а в кочегарку, потому что боялся, что я, в его глазах, «маститый» филолог (всё-таки я был на три года старше), буду при его жене критиковать его рассказы. Но этого не случилось и не могло случиться. Все-таки на филфаке нас научили отличать хорошую литературу от эрзаца.

Первым же впечатлением от Гришиного чтения было ощущение встречи с большой литературой. Прочитав примерно через год довлаговскую «Зону» и чуть позже рассказы моряка—бытописателя флотской жизни Александра Покровского, я не изменил своего отношения к услышанному тогда в душной кочегарской каморке.

Гришины рассказы не о службе в армии, они — о человеке, который пытается найти себя в состоянии разрыва всех связей с внешним миром, пытается выстроить свой мир внутри себя, при этом мир, не противопоставленный другим, но вбирающий их в себя. Может быть, поэтому Гриша выбрал форму повествования от лица рассказчика, вспоминающего и рисующего в своём воображении фантомы прошлого. Наивно было бы думать, что Серёга Веточкин — всего лишь литературная ипостась автора. Нет, Гриша в чём-то был бескомпромисснее и резче. Веточкин оказался нужен автору, чтобы увидеть себя со стороны, чтобы обрести свободу от себя самого, от конкретики своих личных воспоминаний и превратить их в причудливые фантазийные образы, реальные и мифические одновременно.

Что может быть симпатичного в командире отделения связи младшем сержанте Аязе Айтиалиеве (рассказ «Командыр»), которого автор-рассказчик едко характеризует: «Если определить Аязу Айтиалиева одним словом, то это слово — батыр. В понимании русского человека оно означает гибрид ишака с дикой кошкой».

Но варварская целомудренность «батыра» вызывает не только смех, но симпатию, особенно в наше время. Профанные чувства и инстинкты современного человека, ставшие частью рекламной кампании свободы от человеческого в человеке, чужды дикарской первозданности и трепетности. Но именно этим отличаются армейские «дикари» Григория Сабурова. Их чувства картинны, но не вымышлены. Они смешны, но не пародийны. Л. Н. Толстой считал, что дело художника «заставить читателя полюбить жизнь». Гришины рассказы звучат как признание в любви к жизни, как Богоявление, потому что чувство любви к человеку, природе и искусству и есть Богоявление в самом прямом смысле этого слова.

Февральским вечером, отогревшись (спасибо теплу кочегарки и холодной водке), я понял, что мой друг Гришка — большой русский писатель Григорий Сабуров. И с тех пор время неумолимо стирает из памяти дорогие черты ушедшего друга, но сквозь них всё явственней проступают черты настоящего художника, с которым мне посчастливилось быть знакомым и таланту которого я не перестаю удивляться.

### «Свиданий наших каждое мгновенье...»

Когда человек живёт с нами рядом, нам кажется, что образ его целостен и органичен. Но когда он уходит, мы вдруг понимаем, что в памяти остаётся лишь набор кристалликов-воспоминаний, которые могут складываться, как в калейдоскопе (игрушке нашего детства), в причудливые мозаики. И не

всегда можно различить, где правда действительности, а где воображение рисует и дорисовывает свои образы.

В моей памяти осталось несколько кристалликов-воспоминаний. Однажды мы с женой и сыном жарким летним днём в очередной раз навещали Гришу с Оксаной в Репино. Идя со станции, мы увидели, как он идёт по репинской улице — в покрытой угольной пылью футболке, тренировочных штанах, шлёпках на босу ногу. Он шёл домой на обед со смены. Он не мог нас видеть: мы были слишком далёко и шли за ним. Нас поразила его походка: в ней было что-то аристократическое, «сабуrowsкое» (так сейчас ходит его сын). А ещё — стать в осанке и в том, как он ставил ногу (как-то он умудрялся даже в шлёпках не шаркать по асфальту), как держал голову с кудрявой шевелюрой и с уже наметившейся залысиной.

Он гордился своей фамилией; неоднократно вспоминал о Соломонии, жене Василия III и Евдокии, жене царевича Ивана, убиенного отцом, Иваном Грозным; подчёркивал, что Годуновы младшая ветвь Сабуровых, что на страницах «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина его фамилия встречается неоднократно. В этом бахвальстве было что-то мальчишеское. Но было и другое — аристократическое ощущение своей включённости в историю страны. Включённости особого рода...

Гриша никогда не входил ни в какие объединения и группы, не увлекался ни диссидентским движением, ни перипетиями петербургской литературной жизни. Его мир — это его семья; узкий круг друзей, из которых едва ли все знали, что он пишет рассказы; коллеги по работе, о которых он всегда говорил с неизменным уважением, а о некоторых с симпатией, хотя почти все они не интересовались тем, что любил Гриша.

В них он находил то, что, может быть, они сами в себе не всегда замечали, — достоинство человека. Любое проявление этого качества вызывало у него удивление и восторг. С таким же увлечением, как о литературе, он мог рассказывать, как один из его братьев по кочегарскому ремеслу вступился в вечерней электричке за барышню, к которой приставали какие-то хулиганы, и отобрал у них нож. Или как «плюгавенький» на вид, спившийся старикашка с достоинством ведёт себя перед лицом грозного начальства...

Он чувствовал себя свободным человеком, может быть, этим объясняется его нежелание менять свою жизнь и переезжать из Репино в Петербург. Однако в 1990-е годы Репино стремительно обретало новый облик: сначала стали разрушаться каменные сталинские санатории, потом деревянные дома сотрудников этих санаториев, а на их месте возникать коттеджи новых хозяев жизни, чья хамоватая повадка вызывала у Гриши аристократическое раздражение.

Он неизменно недолюбливал тех, кто стремился быть ближе к «кормушке». С пролетарской брезгливостью он говорил о тех, кто в новых условиях быстро сориентировался и понял, что земля вокруг посёлка Репино — это товар, и товар прибыльный.

Он осознавал, что свобода репинского кочегара довольно условна и шатка, но другой у него не было, и он откладывал тот момент, когда придётся что-то менять в своей жизни. Он уходил в свою кочегарку и пи-

сал (когда писалось) свои рассказы или читал любимые книги и любимые стихи.

Помню, однажды поздним февральским вечером мы шли от его дома короткой дорогой через лес к станции. Гриша с семьёй провожал меня с моими домашними в Петербург. Впереди шли и о чём-то мирно беседовали наши жёны. Между ними сновали наши мелкие сыновья, донимая их своими криками и просьбами. А мы, разгорячённые водкой и дружеской беседой, шли позади и во весь голос хором горланили пушкинское стихотворение «Из Пиндемонти»:

*Не дорого ценю я громкие права,  
От коих не одна кружилась голова...*

<...>

*Зависеть от царя, зависеть от народа –  
Не всё ли нам равно? Бог с ними.*

<...>

*По прихоти своей скитаться здесь и там,  
Дивясь божественным природы красотам  
И пред созданьями искусств и вдохновенья  
Трепеща радостно в восторгах умиленья.  
Вот счастье! вот права...*

В этом было что-то пьяно-залихватское и неестественно-театральное, но было и другое: нежелание становиться рабом любых корпораций и объединений, пусть и показное, но всё же устремление к внутренней свободе.

Через много лет меня удивляло, почему он так отстранённо равнодушен к задержке первой публикации его рассказов в журнале «Звезда» (они пролежали в редакции целый год). Сначала мне казалось, что за внешним равнодушием кроется страх быть отвергнутым. Наверное, я примерял эту ситуацию к себе. Но затем понял: его это не очень заботило. На судьбу писателя может повлиять только качество им написанного, а вовсе не публикация его произведений, пусть даже и в авторитетном петербургском толстом журнале. Ожидание публикации — это тоже форма зависимости, а он всегда был свободен.

Русская общественная жизнь всегда легко вычерчивалась через простейшие бинарные схемы: западники и славянофилы, белые и красные, коммунисты и диссиденты, патриоты и либералы и т. д. Однако русский мир богаче и сложнее таких стратификаций, слоистее, в том числе и потому, что в нём по-прежнему встречаются люди, с трудом вписывающиеся в элементарные и, казалось бы, удобные для осмысления модели.

Именно к таким людям относился мой друг Гриша. Кочегар, но не пролетарий (среди репинских кочегаров он всегда был несколько особняком). Дворянин по происхождению и демократ по образу жизни. Эстет, любитель «набоковской», доходящей до самолюбования изощрённости стиля (его рассказы поражают красочностью и едва ли не витиеватостью описания казарменного быта морпехов), и сторонник искусства, пробуждающего «чувства добрые»...



Без таких людей наша жизнь была бы прямолинейнее и примитивнее. Они усложняют нам существование, потому что не принимают элементарных объяснений действительности, потому что ищут в ней не всегда явные смыслы, потому что чувствуют в том, чем живут, одухотворённость. Материальная составляющая жизни для них лишь внешний покров, за которым чувствуется либо её трагедийная, либо поэтическая сущность, либо и то и другое вместе, а ирония — способ проникновения в эту сущность, потому что серьёзность сродни маразму.

Я не помню наших первых встреч, разве что ощущение от них. Мы сталкивались в комнате (всегда открытой настежь!) известной петербургской учительницы Рахиль Израилевны Беккер, в классической коммуналке на Садовой («на 38 комнаток всего одна уборная»). Там часто сходились в острых спорах её школьные, университетские друзья и выпускники разных лет, к которым принадлежал я, а также залетающие на частные уроки желающие поступить в вузы абитуриенты, к которым принадлежал Гриша. Он всегда как-то агрессивно спорил, и тогда мне казалось, что это род закомплексованности, хотя некоторые его оценки были парадоксально остроумны. Потом он пропал куда-то. Оказалось — в армию, потому что так и не нашёл в себе желания стать инженером.

Наша дружба завязалась позже. А первая настоящая встреча, определившая навсегда нашу взаимную симпатию, как и подобает петербургским мечтателям, произошла белой ночью. К Гришиному дяде, работавшему на биофаке университета, приехали студентки-практикантки из Литвы. Грише было доверено их развлекать, и он пригласил меня в свою компанию, но не потому, что их было двое, а потому что звали их в переводе с литовского на русский: Луна и Солнце.

«Представляешь, — говорил он мне, — каково бродить по невским набережным белой ночью в компании Луны и Солнца». Я прихватил с собой гитару, чтобы развлечь барышень. Очевидно, песни Окуджавы и запрещённого тогда Галича в моём исполнении не произвели на «светила» должного впечатления. Но нам было довольно и того, что в ту ночь Ленинград испарился под лучами Солнца и растаял в туманном свете Луны — он всплыл, как Петрополь.

Наше общество показалось литовским барышням (всё-таки биологи ближе к земле) слишком эфемерным и потому скучным — мы расстались, не дождавшись утренней зари. Оказалось, что на такой «печальный» случай Гриша запасся трёхлитровым бидончиком пива, который ожидал нас в квартире его больной бабушки на улице Якубовича, куда мы и направились.

Мы расположились на единственном на целый квартал балконе, о чём-то спорили, что-то рассказывали друг другу, задумали поставить «Две стрелы» Александра Володина в моём пятом классе (я тогда первый год работал в школе после окончания университета)...

С тех пор я любил наши встречи. Как бы мы ни «узююкивались» (что греха таить, бывало и такое), в «послевкусии» всегда оставалась не утренняя головная боль, а ощущение осмысленности бытия, его связности. Именно

этим ощущением поражают и Гришины рассказы. Самое примитивное и регламентированное — армейская жизнь — предстаёт в них как внутренне сложное и даже поэтическое, не на поверхности, где царит устав и грубый армейский быт, а в глубине памяти-воображения.

Сквозь простое и даже анекдотическое, как желание «батыра» из рассказа «Командыр» — увидеть свои «подвиги» запечатлёнными высоким и патетическим слогом, просвечивает авторское размышление о смысле искусства. Говоря Гришиными словами: «...Осознание мира и себя в мире возникает внезапно, болезненно и сладостно». Так было при каждой нашей встрече, и потому они были мне так необходимы.

### «Когда идёт бессмертье косяком...»

Гриша ушёл из жизни молодым. Теперь, когда прошло больше семи лет после нашей последней встречи, я думаю: не могло быть иначе. Он был слишком молод и вольнолюбив, чтобы молодая ирония превратилась в стариковскую жёлчь. Он был идеалистом, но не романтиком, потому что у него были идеалы, но не было иллюзий. Наконец, он умел чувствовать жизнь, как чувствуют её молодые. С ним было легко, как бывает легко только в молодости. И именно эта лёгкость ощущается в финале рассказа «Санчасть»:

«Я захожу в санчасть, подмигиваю нарисованным паразитам, захожу в изолятор, где хохочут обитатели и поёт, орёт, пляшет неудержимый Фишка; я заваливаюсь на свободную для меня кровать, чтобы ещё раз плеснуть душой и воспарить счастливым гадом над казармами и штабом, над проклятой Богом и забытой правительством деревней Раздольное, над болотистой равниной жёлтой речки Суйфунь».

В последней нашей встрече было что-то мистическое. Я вернулся из летнего отпуска в Петербург на следующий день после Гришиной гибели и сразу отправился к его жене Оксане. Мы с женой были потрясены случившимся и, как могли, старались ей помочь.

Я сидел в той же комнате, где мы иногда спорили до хрипоты, где Ксюша (а Гриша всегда называл свою жену так, ласково, во всяком случае, я другого не слышал) потчевала нас своими угощениями... Сидел за тем же журнальным столиком, за которым мы много раз выпивали последнюю рюмку «на посошок»...

Оксана пошла на кухню мне что-нибудь приготовить — поесть на скорую руку. Я же, вспомнив наш последний с Гришей разговор, взял с полки томик стихов Арсения Тарковского и стал листать. Моё внимание привлекли страницы, отмеченные жирными, серо-чёрными от угольной пыли отпечатками пальцев. Я понял: это те стихи, которые Гриша особенно любил и перечитывал во время перерывов работы в кочегарке. Мне подумалось, что эти отмеченные его пальцами строчки его последнее послание ко мне.

*Предчувствиям не верю и примет  
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда*

*Я не бегу. На свете смерти нет.  
 Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо  
 Бояться смерти ни в семнадцать лет,  
 Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,  
 Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.  
 Мы все уже на берегу морском,  
 И я из тех, кто выбирает сети,  
 Когда идёт бессмертье косяком.*

Именно эти строки Тарковского я прочитал тогда. Наверное, Гриша, покидая пределы нашего мира, хотел меня утешить. Наверное, хотел сказать, что, как Арсений Тарковский, может передать то, что ему уже не сказать. Так и его рассказы кому-то скажут что-то очень важное о жизни и в жизни.

А может быть, он просто хотел мне напомнить, как однажды он, заядлый рыбак, взял меня с собой на рыбалку. Мы битых три часа болтались на волнах «Маркизовой лужи» (как называют Финский залив петербуржцы) в надежде что-нибудь поймать.

Нам «повезло»: он передал мне удочку, чтобы я не чувствовал себя неудачником, когда мы вытянули единственного в тот день мелкого окушка. Зато, когда мы возвращались домой, мы всем попадавшимся на нашем пути репинским знакомым на вопрос: «Что поймали?» — гордо отвечали: «окуня!» — и смеялись богатству и изворотливости русской речи. Ведь что значит «окуня»: одного или много окуней?

Только много позже из рассказов Оксаны я понял, что Гриша, когда рыбачил, один уходил на своей залатанной-перезалатанной надувной резиновой лодке от берега километра на два, а со мной не более чем метров на триста-четырееста: он знал, что я плохо плаваю и боюсь воды.

Не знаю, иронически или всерьёз надо воспринимать это последнее стихотворное послание друга. Тогда, листая сборник Арсения Тарковского и вчитываясь во все Гришины пометы, я думал: только всерьёз. Теперь же я думаю, писатель Григорий Сабуров, патетически назвавший свои произведения «Пешком по волнам», был серьёзен по-евангельски, но рассказчик его произведений Серёга Веточкин, давший им подзаголовок: «Записки запасного морпеха», — сохранил способность к иронической свободе.

«Слова поэта суть уже его дела», — сказал А. С. Пушкин, и я благодарен редакции альманаха «Русский мир», что ещё два рассказа замечательного русского писателя найдут своего читателя. Даст Бог, когда-нибудь разбросанные на десятилетие по разным изданиям («Звезда», «Аврора» и вот, наконец, «Русский мир») его рассказы сойдутся под одной обложкой в книге изданного и неизданного. Сойдутся, чтобы не только близкие друзья Григория Сабурова испытали радость свиданий с настоящим искусством слова, проникнутого любовью к человеку и верой в жизнь, в её, простите за тавтологию, жизнеутверждающую правду.